

МОТИВ ХРАНЕНИЯ И ПЕРЕДАЧИ ОПЫТА В РОМАНАХ А. ЧУДАКОВА «ЛОЖИТСЯ МГЛА НА СТАРЫЕ СТУПЕНИ» И П. АЛЕШКОВСКОГО «РЫБА. ИСТОРИЯ ОДНОЙ МИГРАЦИИ»

Т. А. Рытова

THE MOTIF OF KEEPING AND SHARING EXPERIENCE IN A. CHUDAKOV'S *MIST FALLS ON THE OLD STAIRS* AND P. ALESHKOVSKY'S *FISH. THE HISTORY OF A MIGRATION*

T. A. Rytova

Объектами внимания стали реалистические романы 2000-х годов писателей старшего поколения, позволяющие выявить, как отражено изменение способов хранения и передачи поколенческого опыта в литературе начала XXI века. Представление о неоднородности, динамичности культуры принципиально меняет идею о продуктивности хранения поколенческого семейного и индивидуального опыта.

The article focuses on the 2000-s realistic novels by older generation writers, the novels reflect the change in the ways of keeping and sharing experience among generations in the early XXIth century literature. The notion of heterogeneity and dynamic culture fundamentally changes the idea of the productivity of keeping family and personal experience of a generation.

Ключевые слова: русская литература 2000-х годов, реализм, связь поколений, хранение и передача опыта.

Keywords: Russian literature of the 2000-s, realism, keeping and sharing experience, generation.

Социальная история XX века отменяла смысл последовательно проживаемой жизни, и обращение прозы XXI века к осмыслению способов сохранения и передачи поколенческого опыта может быть оценено как попытка реконструкции логики человеческого существования. О том, что такой замысел присутствовал в предшествующем периоде (в русской литературе второй половины XX века), свидетельствует целый ряд произведений, различных по эстетике: от тетралогии Ф. Абрамова (1958 – 1978) до романа А. Битова «Пушкинский дом» (1971), от повести В. Распутина «Прощание с Матерой» (1975) до романа А. Кима «Отец-лес» (1987). Основания обращения писателей к ситуациям хранения и передачи поколенческого опыта различны. Обращение Ф. Абрамова, В. Распутина, А. Кима к семейным эпопеям с вымышленными персонажами («fiction») позволяло авторам создавать иллюзию включенности человека либо в поток истории (Ф. Абрамов, А. Битов), либо в родовую космос (В. Распутин, А. Ким).

В последнюю треть XX века семейная тема «уходит», главным образом, в «non-fiction», где авторы разных направлений (не только реалисты) обращаются к мемуарному изображению своей семьи (В. Катаев «Разбитая жизнь, или Волшебный рог Оберона», «Кладбище в Скулянах», С. Довлатов «Наши», «Чемодан», А. Сергеев «Альбом для марок», А. Чудаков «Ложится мгла на старые ступени» и др.). Сюжетом этих произведений становится «переосмысление собственной жизни <и жизни своей семьи>, воспринимаемое как сопротивление безличной и надчеловечной истории» [3, с. 211]. Автобиография перерастает здесь в историю рода (в «фамильную» прозу, не «родовую»), то есть границы личной субъективной жизни раздвигаются.

Объектами нашего внимания стали романы 2000-х годов писателей старшего поколения, позволяющие выявить, как отражено изменение способов хранения поколенческого опыта в литературе начала XXI века. Принципиально, что в новейшей русской

литературе эти ситуации (как и многие прочие) «генерируют пограничные социокультурные явления», так как «культура перестала быть стабильной и неизменной сущностью, а общество рассматривается не как коллективный и единый концепт, а как динамическое образование, в котором постоянно происходят процессы закрепления коллективных и личных идентичностей в зависимости от контекста, ситуации и исходных условий» [5, с. 26]. Представление о неоднородности, динамичности культуры принципиально меняет идею о продуктивности хранения поколенческого (семейного и индивидуального) опыта.

Роман-идиллию А. Чудакова «Ложится мгла на старые ступени» (2000) и роман П. Алешковского «Рыба. История одной миграции» (2006) при всей непохожести нарративов позволяют поставить в один ряд переклички сюжета: жизнь главных героев в обоих произведениях не только начинается с детства, проведенного в Азии, и происходит на фоне трагических изломов истории второй половины XX века (с акцентом на историю ссыльнопоселенцев), но и в обоих случаях основана на описании распада и миграции семьи и одновременно включает развернутые межпоколенческие контакты. При описании последних оба автора акцентируют ситуации восприятия «младшими» опыта «старших» (в обоих случаях – поколения дедов). В романе А. Чудакова (Александр Павлович Чудаков (1938 – 2005) – российский литературовед и писатель, специалист по Чехову. Работал в Институте мировой литературы, преподавал в МГУ, Литературном институте. Доктор филологических наук (1983), читал русскую литературу в европейских и американских университетах. Чудакову принадлежат работы: «Поэтика Чехова» (1971), «Мир Чехова: Возникновение и утверждение» (1986), «Слово – вещь – мир: от Пушкина до Толстого» (1992), он опубликовал более двухсот статей по истории русской литературы. Роман «Ложится мгла на старые ступени» номинировался на Букеровскую премию в 2001 году) «Ложится мгла на старые ступени» само-рефлексия автобиографического повествователя и его

воспоминания о себе-молодом соотносены с атмосферой семейного микромира, который он застал в детстве в казахстанском городке Чебачинске, переполненном ссыльными разных волн и различных национальностей. В романе подчеркнута «промежуточность» пространства заштатного Чебачинска (по виду – поселок, по статусу – город; «райский уголок, курорт», «узкий язык» гор посреди голой казахской степи) и текучая многосоставность городской среды (в Чебачинске «были привлеченные по шахтинскому делу, платоновскому, делу славистов, попадались изгнанцы единичные... – музыканты, шахматисты, ...актеры, сценаристы, ...эстрадные юмористы... С Дальнего Востока привезли корейцев... Перед войной поступила латышская интеллигенция и поляки, уже в войну... немцы, ... чеченцы, ... эвакуировали Академию наук» [9, с. 25]).

В контексте разрозненных географических топов, где осуществлялась жизнь рода (упоминаются казахстанские Акмолинск, Чебачинск, Павлодар, поселок Смородиновка, Дальний Восток, Западная Украина, Германия, Белая Церковь, Саратов, Эльба, Берлин), дом ссыльного деда в Чебачинске не воспринимается как пространство рода, а лишь как место проживания деда и разрозненных членов семьи (двоюродная сестра «Катя год жила у нас, но потом ей пришлось от жилья отказать – с первых дней она подворовывала» [9, с. 12]). Во второй главе романа («Претенденты на наследство») аллюзии характеризуют «наследство», доставшееся новым поколениям от поколения деда: Великая Отечественная война – финская война – японская война – смершевцы – бендеровцы – ЧСИР (члены семей репрессированных). Все это объясняет семейную разобщенность и трагическую открытость в мир родового гнезда (этот образ в романе сохраняется, но его семантика размывается).

Герой Чудакова отчужденно вспоминает себя в процессе юношеского становления, поэтому его образ тоже динамичный – распадается на две ипостаси («Антон» и «я»). Однако в реалистическом романе дробление автобиографического образа не только моделирует проблему фрагментированного существования современного человека, но и преодолевает эту проблему: создает «протягивание» автором эмоции, мысли, поступка от автобиографического образа к себе-как-«Другому» позволяет передать дление жизни в рамках самосознания. Повествовательная структура романа подтверждает эту идею: повествование хоть и разбито главами на фрагменты, каждый из которых имеет название (знак «разбитости» жизни героя на оторефлексируемые фрагменты), лишено хронологической последовательности. При этом наличие «кольцевой» рамки (роман начинается ранними воспоминаниями автобиографического героя о деде и заканчивается смертью деда) воплощает идею целостности и «дления» жизни.

То, что фрагменты воспоминаний героя не выстроены хронологически между главами и внутри глав, указывает, что автор подает жизнь семьи не как «историю рода» («истории» свойственны причинно-следственность, линейность), а как одновременность прошлого и настоящего существования близких лю-

дей (в сознании автобиографического героя). Подобная интерпретация художественной структуры романа находит подтверждение в размышлениях автобиографического героя о сущности времени: «Время, вопреки обыденным представлениям, не движется односторонне от прошлого через настоящее к будущему – все эти три потока текут одновременно и параллельно» [9, с. 72].

Поэтому логика повествования строится не на хронологии, а на том, что от главы к главе герой открывает и проверяет знания, которые выработали члены его семьи и близкие им люди (ищет достоверные знания в ситуации «информационного взрыва»). Но оттого, что «все потоки времени текут параллельно», знания прошлых поколений предстают как обрывочные и противоречащие друг другу. Например, в третьей главе («Воспитанница института благородных девиц»), посвященной бабке героя, все аллюзии репрезентируют вкусы дворянской аристократии рубежа XIX – XX веков. Так, бабушкой упоминаются в рассказах о прошлом плетеный диванчик а la Луи Каторз, актриса Гоголева в роли королевы в «Стакане воды», неприятная история с гранатовым браслетом», Зимний дворец, императрица Александра Федоровна, «граф Толстой и Пушкин с его шестисотлетним дворянством», «мадам Шанель», «кулон от Фаберже». Опереться на бабушкины знания невозможно: в четвертой главе герой перечисляет систему ценностей следующей эпохи, полностью отменяющей предыдущую: «Трактористы», НКВД, «Артек», Коминтерн, Вернадский, РОНО, Царицын, Троцкий, Лубянка. Перечисленные в таком ряду символы воплощают в четвертой главе абсурд ранней советской эпохи 1920 – 1930-х годов.

Поэтому композиционно в центре романа – интимный процесс вхождения героя-юноши в круг знаний предков. В восьмой главе этот процесс описан, например, в таком эпизоде: «Бонапартизм Антона начался еще до школы, когда дома пели «По синим волнам океана» <...> у Антона набегали слезы <...>. Пели и другую, тоже очень хорошую песню «Шумел, горел пожар московский» [9, с. 46]. У Чудакова акцент сделан на том, что знание входит в жизнь человека стихийно (в данном случае со стихией пения, из стихии «народного», ненавязчивого знания), и на том, что человек начинает «стягивать» разрозненную информацию в «пучок» (через личный интерес к Наполеону герой начинает понимать проблематику произведений Зейдлица и Гейне, Жуковского и Лермонтова).

С этой главы аллюзии в этом реалистическом романе воплощают «знания» не как «готовые» стереотипы, а в классическом смысле – как «плод ученья, опыта» [2, с. 688]. То есть автобиографическим героем осуществляется ревизия «семейных знаний» не как «готовых знаний», а как результата семейного опыта. Опыт – «совокупность знаний и практически усвоенных навыков, умений. Воспроизведение какого-нибудь явления экспериментальным путем, создание чего-нибудь нового в определенных условиях с целью исследования, испытания» [6]. Перенос внимания автобиографического героя со «знания» (знаков, тек-

стов) на «опыт» можно расценивать как сопротивление хаосу и агрессии «готовой» социальной информации об истории, так как «опыт» – это такое живое пограничное явление, в котором органично сливаются, поверяются друг другом «знания» и «практические действия».

В названиях 9 – 12-й глав – субстанциальная определенность, так как они посвящены воспоминаниям о том, как семья осваивала материальный слой жизни: «Натуральное хозяйство XX века» (9 глава), «Землекопы и матросы» (10 глава), «Вдовий угол» (11 глава), «ООН» (12 глава). «Выращивали и производили все. Для этого в семье имелись необходимые кадры: агроном (дед), химик-органик (мама), дипломированный зоотехник (тетя Лариса), повар-кухарка (бабка), ...лесоруб, слесарь и косарь (отец)» [9, с. 49]. В отличие от первых глав, где подчеркивается, что исторические и культурные знания «старших» противостоят друг другу («самопроверяются») и неадекватны новой эпохе (после домашних уроков деда «Антон еще долго будет... называть переносы единитной чертой и писать иногда по рассеянности в конце слова еры» [9, с. 41]), в центральных главах романа описан духовно-материальный «опыт» старших, нацеленный на выживание, то есть на совпадение с новейшими условиями жизни, а не на отвлеченное хранение знаний (культурных текстов и знаков). Упомянуты неслышанные урожаи деда-«докучаевца», домашнее производство свечей, мыла, сахара, хлеба и крахмала, выделка кож и т. д. При этом подчеркнуто, что книги (традиционный источник знаний интеллигенции) сами по себе не способствуют познанию подобного опыта («автор “Двух капитанов” ...много раз упоминал про сильный клей, ...но так и не сообщил рецепта» [9, с. 53]) – важны навыки и личные эксперименты, в результате которых объединяется семья и проверяются накопленные знания (например, делать клей пытались из «крахмала, выварки рыбьей чешуи и телячьих копыт»).

Однако, вспоминая опыт выживания своих родных, герой постоянно осознает агрессивное «физическое» давление языковой (словесной) среды на материальную жизнь:

1) словесные наименования топосов могут дезориентировать человека не только в физическом, но и в духовном пространстве («Жизнь есть существование белковых тел, – натренированно выпалил Антон, – <...> Сказал Фридрих Пугачев». Отец... поняв, начал хохотать: за улицей Маркса в Чебачинске шла не улица Энгельса, как полагалось, а почему-то улица Пугачева, Энгельса была следующая» [10, с. 27]);

2) идеологические термины разрушают материю национального языка (на уроках казахского в Чебачинске школьники читали: «Из райкома ВКП (б) вышел аксакал. Он нес чемодан. Он шел в райком ВЛКСМ» [10, с. 29]).

Герой убеждается, что процесс выработки подлинного знания (опыта) всегда мучительный, потому что, если «опыт» выходит за пределы частной жизни, на его усвоение всегда влияют «тексты» (идеология общества): в шестнадцатой главе герой вспоминает имена биологов, влиявших на формиро-

вание естественнонаучного знания и опыта: наряду с Вавиловым, Лепешинской, Костычевым, Докучаевым в главе упоминаются фамилии Лысенко, Фиша, Вильямса, идеологизировавших науку, повлиявших на драматическую судьбу ведущих биологов. В двадцатой главе («Отец») герой вспоминает «отцовский круг знаний» и воспринимает их сегодня не как «личные» (выработанные самим отцом), а как «готовые» (навязанные социумом середины XX века). Например, отцу героя – историку – был присущ тот интерес к «сильным мира сего», который доминировал в массах во времена тоталитаризма и вытеснял интерес к частной жизни (упомянуты Талейран, Бисмарк, Рузвельт, Черчилль, Ленин, Сталин, Людовики).

В последней главе романа проверяется «дедовский» круг знаний. Например, выделяется ряд имен писателей, которых герой обсуждал с дедом (упоминаются Некрасов, Пушкин, Рылеев, Гете, Толстой, Ломоносов, Гейне, Уайльд, Маяковский, Багрицкий). Филологическая бессистемность этого ряда имен принципиальна (ср. со стереотипной «системностью» исторических знаний отца). Бессистемность указывает здесь на хаос и равноправие той сохраненной предками информации, которую стремится усвоить современный человек. В финале можно «вычитать» несколько вариантов рассмотрения этой проблемы. Друг Юрий (человек того же поколения, что герой) отрицает возможность сохранения во всей достоверности опыта прошлого («Интеллектуальную и психическую информацию с каждого не списали, и он ушел навсегда – как целостность, а осколки ее в его текстах – именно всего лишь жалкие осколки» [10, с. 92]). Сам герой осознает, что наиболее значим хаотичный и многообразный опыт, который рождается в процессе частного контакта человека с человеком. В этом смысле дед стал для героя подлинным хранителем опыта: «Здесь лежит тот, <размышляет герой на могиле деда – Т. Р.>, кого он, <герой> помнит с тех пор, как помнит себя, у кого он, слушая его рассказы, часами сидел на коленях, кто учил читать, копать, пилить, видеть растение, облако, слышать птицу и слово; любой день детства не вспоминаем без него. И без него я был бы не я» [10, с. 94]. О значимости фигуры деда говорит то, что роман начинается ранними воспоминаниями героя о деде и заканчивается смертью деда.

Однако в романе нет мифологизации деда. Миф о деде («Дед был очень силен» [9, с. 7]) формируется и разрушается уже в сюжете первой главы «Армреслинг в Чебачинске». Итоги контактов с дедом и личных духовных поисков героя – в открытии экзистенциального опыта деда: «Старый мир ощущался им <дедом> как более реальный, дед продолжал каждодневный диалог с его духовными и светскими писателями, со своими семинарскими наставниками, с друзьями, отцом, братьями, хотя никого из них не видел больше никогда» [10, с. 96]. Таким образом, воспоминания о деде позволяют герою понять, что хаос осколочных знаний человек упорядочивает и иерархизирует в ежедневной, ежечасной индивидуальной духовной работе, поверяя их вечными ценностями (бог, смерть). Воспринятое героем от деда переживание жизни как реальной, подлинной предполагает необходимость

постоянно, каждодневно, длить в себе все уходящее, но бывшее твоим. Этот процесс дления есть сопротивление энтропии, «равносильное социоантропологическому выживанию» [7, с. 24].

П. Алешковский (Петр Алешковский (1957) – печатается как прозаик с 1989 года, автор сборника рассказов «Старгород», повестей «Жизнеописание Хорька» (1993), «Институт сновидений» (2009), романов «Арлекин, или Жизнеописание В. Трелиаковского» (1995), «Владимир Чигринцев» (1995), «Рыба. История одной миграции» (2006) в романе «Рыба» (2006) дает картину иного слома эпох, но тоже в аспекте миграции семьи: «Книга «Рыба» – это история миграции, история русской женщины, которая в 1992 году драпала вместе со своей семьей от геноцида в Таджикистане и попала в Россию, откуда вышли её предки» [4]. А. Смирнов: «Роман, в сущности, о том, что случилось с советской империей, с русской диаспорой, с народом исчезнувшей страны» [8, с. 7]. В этой картине мира, как сначала кажется, вообще нет места устойчивому обитанию семьи и опоре на стариков.

Родители Веры – геологи – принадлежат к поколению тех, кто в середине XX века создавал базу постиндустриальной цивилизации. Их миграции были оправданы общественной необходимостью и ценностью их профессии: «Папа с мамой мои были геологи. Их долго носило по стране, пока не закинуло в Таджикистан» [1, с. 9]. В Таджикистане русская семья лишилась всяких опор, как только социальный «заказ» иссяк (начало 1980-х годов): «Когда развалилась геологическая партия, ... запил и глупо погуб в геологическом шурфе отец» [1, с. 12]. После смерти отца детство Веры проходит в нужде и осознании социальной несправедливости (мать пошла работать санитаркой, «нанималась на праздники» [1, с. 9]). Это фиксирует процесс превращения русских, живущих на окраинах советской империи, в маргиналов, говорит о нежелании русских обывателей встраиваться в чужой мир, жить в рамках чужой культурной традиции: «Мы всегда что-то рьяно доказывали..., прилюдно ругались. Наши девчонки заплетали две косы, их – много. Мы играли в лапту, в волейбол, а не в «ошечки» бараньими косточками... потребляли любой алкоголь, но покурили и план, от которого гоготали и хихикали, и ползали на карачках – «козлили»..., кончалось это безобразие безрассудной дракой, утверждающей поганое “я”» [1, с. 10].

Переломным в жизни героини стало лето 1968 года: в жизни советской цивилизации это год социальных волнений, протестов и разочарований. В этом году со стороны старших был спровоцирован резкий кризис в самоидентификации Веры-подростка: узбек старик Насрулло напоил ее маковым чаем и изнасиловал. Восстановил справедливость таджик Ахрор, руководствуясь не только ответственностью за одинокую девочку, но и ответственностью за свою нацию. Насилие со стороны «узбека» увеличивает границы «чужого» мира вокруг героини (переживание «чужести» закрепляют косые взгляды соседок). С другой стороны, насилие со стороны «старика» рождает переживание экзистенциального одиночества,

онтологической оставленности («Я пережила смерть внутри смерти... Я отказалась выходить на улицу. Забилась на своем диванчике» [1, с. 78]). Несмотря на то, что внешняя социальная справедливость восстановлена, внутренние ощущения остаются у Веры пограничными: «Все начиналось со старика. Он зависал надо мною, его глаза с маленькими зрачками впивались прямо в душу» [1, с. 78].

В сюжете романа Алешковского принципиальна долгая миграция современной семьи (и ее хранительницы – женщины), которая обусловлена отсутствием стабильности в бытовой жизни и крупными социальными катаклизмами начала 1990-х годов. Миграция героини из провинциального Пенджикента в «центр» (в столицу Таджикистана Душанбе) обусловлена переживанием насилия «старика», но разбивает иллюзию, что можно найти ценностное пространство: бегство Веры в столицу убивает ее мать; жизнь большого города на излете советской цивилизации ведет только к маргинальности (подругу Нинку наркомандельцы изнасиловали и сделали постоянным клиентом; созданная Верой семья постепенно разрушается из-за агрессии мужа, работающего на мясокомбинате).

В 1992 году, когда в Таджикистане началась гражданская война после вывода советских войск из Афганистана (в романе эти события осмысляются метафорически – «начался исход», «Ноев ковчег», «библейская голубка»), повзрослевшая героиня с семьей (муж, два сына), дядями и их семьями уезжает на историческую родину в Россию (объединение с дядями вынужденное и кратковременное). Изображение переезда семей в Россию на современном, технизированном «Ноевом ковчеге» (грузовой машине «Урал» с выстроенным деревянным кузовом) и барачной жизни в Трехречи в Астраханской области, где издавна жили казахи и туркмены (то есть в месте, расположенном между Азией и коренной Россией, а также на пограничье трех рек) не только закрепляет семантику «промежуточного» существования современной семьи, но и указывает, как растягивается на годы «переходный» этап в судьбе героини (так же, как затягивается на десятилетия переломный этап в развитии государства после развала Советского Союза).

В отличие от Чудакова Алешковский изображает уже современную (неразветвленную) семью, где людей связывает не только выживание в рамках скудного быта (что обусловлено, как и у Чудакова, историческими сломами), но и постоянно меняющееся место проживания (это заставляет держаться друг друга). В современном мире миграция семьи, раз начавшись, становится неостановимой: из астраханской глубинки семья Веры уезжает в подмосковный Волочок, где жила мать ее мужа Геннадия, из Волочка – в Жуково (так как бабка отказалась помогать семье). Поэтому каждый член семьи внутренне одинок и пытается сформировать внутреннюю территорию и отчужденность: муж уходит в монастырь в самый трудный момент семейной жизни (совершает побег от ответственности перед близкими), младший сын «уходит» в наркотики и умирает от передозировки, Вера, осознавая свою вину перед детьми («я, дура, проглядела» [1,

с. 203]), уезжает в глухую деревню Карманово, чтобы оставить жилье старшему сыну и его жене.

Карманово – глухой хутор («карман») из двух-трех домов, окруженных лесом, вокруг которого с давних исторических времен жило много переселенцев (латышей, эстонцев). По степени своей провинциальности и переполненности выходцами из разных национальных и сословных сред этот топос очень похож на промежуточное пространство Чебачинска в романе «Ложится мгла...». Однако Алешковский акцентирует не современную переполненность, а богатое историческое прошлое этих мест, не сравнимое с прошлым Чебачинска: «Царь Александр I, вернувшись из Парижа после войны с Наполеоном, решил даровать крестьянам свободу в прибалтийских губерниях, в России это случилось позже... В результате к 80-м годам XIX века в Лифляндии и Эстляндии образовалось много безземельных бедняков... получилось перенаселение... снимались семьями... ехали под защиту русского царя» [1, с. 207 – 208]. Алешковский выстраивает историю этой дореволюционной миграции (одна волна – за границу, другая – в Сибирь, на Алтай, третья – до абхазского поселения Пицунды пока «комары <не> прогнали эстонцев из абхазского рая» [1, с. 209]), потому что ему важно, происходит ли в результате массовых переселений (миграций) укоренение.

Прежде всего подчеркнута, что итогом давней миграции стало формирование смешанного языка: эстонцы освоили русский язык (причем в «коренной», диалектной, форме), но сохранили ту протяжность, которая свойственна их языку. Происходила и генетическая ассимиляция (эстонцы женились на местных). Это образование смешанной среды вело к тому, что глухой провинциальный край на долгие десятилетия стал «живым». Однако после глобальных исторических перемен XX века все изменилось. «Многие, не разучившись петь подпольно лютеранские псалмы, умудрились просочиться назад в советскую Эстонию... словом, к концу 1980-х от еще недавно живого края остались пустые поля и редкие зарастающие мхом нижние венцы изб» [1, с. 211 – 212].

Вера попадает в этих местах уже в маргинальные условия (материальная жизнь движется к энтропии, перенаселенный когда-то край опустел). Благодаря рассказам эстонской бабушки Лейды Кярт она осознает, что есть смысл проживания и в подобной ситуации. Отрабатывая всю жизнь почтальонкой, выучившая трех детей в институтах (знаки жизни сельской интеллигенции) Лейда похоронила мужа, но уезжать на историческую родину не стала: «Здесь родилась – здесь и умру. Моя бабушка рассказала, что такое переехать всей семьей. Мне работы и беды и тут хватает». Лейда живет по принципу «укорененности» и «долженствования» («Где родился – там и пригодился»), так как он усвоен из личных рассказов и трагического опыта предков-переселенцев. В этом контексте для нее не значимы частое отсутствие электричества, одинокая работа в огороде, обременительная заготовка дров и корма для животных и т. д.

Для Веры жизнь на хуторе, включение в ежедневный труд стали прежде всего физическим испытанием («На огороде плакала без стеснения» [1, с. 214], на

грязном льнозаводе чувствовала, что она «лягушка» [1, с. 224], старый домик с русской печкой, сумрачный и сырой, называла «своим крематорием»). Опыт духовного и материального укоренения старой эстонки не воспринял ею, так как она переживает не встроенность в семейную цепь, а тотальное одиночество: «Сухая и звонкая, лишенная надежды снова быть нужной кому-либо, я дошла до крайней степени отчаяния-безумия» [1, с. 230]. В таком контексте длительное погружение в процесс физического выживания провоцирует отказ вообще от духовных ценностей. Степень безупрочности Веры характеризует ситуация сжигания ею книг: «Я шуршала в печке... простоволосая, в грязном залежалом халате, я была похожа на ведьму, варганящую в полночь приворотное зелье» [1, с. 231].

Вследствие этого итогом «перенимания опыта» у старой Лейды становится осознанное решение Веры уйти в лес: «Мне нравилось идти по лесу – не было никакой цели, не нужно было собирать, искать, заготавливать на зиму, как заставляла меня тетя Лейда» [1, с. 236]. Однако чувство свободы, которое дало пространство леса, обманчиво, неспасительно: Вера заблудилась, борется за жизнь (не хватает еды, воды, начался холод, дождь). Ее спас старик-охотник Юку. В отличие от Лейды он владеет интуитивным знанием природы (лечит Веру травяными настояями) и опирается на личный опыт (между ним и Верой возникает понимание, так как он умеет лечить прикосновением пальцев, как и Вера). Юку пострадал от исторических перемен («в январе тридцать седьмого забрали как врага колхозного строя... В пятьдесят пятом вернулся домой из Речлага» [1, с. 248]), поэтому он стал нацелен на укоренение (отстроил избу, «стал работать в колхозе» [1, с. 248]). Юку научился жить и в колхозе, и в природной среде, и в одиночестве, так как духовную пустоту заполняло хранение традиций и уклада эстонцев.

Старик Юку осознает себя хранителем не родового, а национального опыта: он – не просто последний житель в опустевшей деревушке Куковкино, а «обломок Нутмекундии». Мотив хранения опыта и отношение Юку к «корням» символизирует образ эстонского колокола, который он спрятал в лесу в тридцать втором году, чистил и хранил. Колокол воплощает здесь множественную семантику: важен и как достопамятная вещь (материальный хранитель памяти), и как текст (хранитель национальных знаний), и как атрибут связи двух народов: «Внутри вся поверхность была исписана эстонскими буквами – Юку вырезал их ножом. Он прочитал мне начертанные фамилии, а потом много раз повторял этот список, и я всех запомнила... По верху, по самому оплечью шли буквы – кольцо эстонских и кольцо русских» [1, с. 249].

Таким образом, Юку самостоятельно создает промежуточный вариант укоренения – осознает, что «если нет земли, родиной становится язык» [1, с. 250]. Поэтому для Юку колокол становится «корнем» его жизни: когда колокол сорвался, «по юбке расплзлись трещины... голос исчез» [1, с. 256], старик умер от инсульта. Однако именно в силу полисемантности колокол становится тем предметом, который способен

быть значимым для другого поколения (Вера: «Голос эстонского колокола будил во мне силу, которой, признаться, мне не доставало» [1, с. 244]). В звуках колокола Вера слышит вечное движение народов, цивилизаций, то есть открывает текучую логику истории.

Таким образом, в романе Алешковского (так же, как у Чудакова) в качестве духовной опоры проверяется опыт стариков (поколения «дедов»), так как в силу возраста они уже не подвергаются миграциям, вынуждены жить оседло и укорененно. Неслучайно роман «Рыба» заканчивается еще одной встречей Веры со стариком. После смерти Юку она не боится цивилизации (так как уже понимает ее устройство) и переезжает в Москву, где властвует закон и норма цивилизации – вечное «броуновское движение» масс («столица тасует людей, как колоду карт, раскидывает» [1, с. 275]). Уже подъезд дома Веры являет целую галерею социальных типов постсоветского времени, очень похожую на то, что было в Чебачинске в романе Чудакова («Были тут и интеллигенты, тихие, едва сводящие концы с концами, были и такие, что не смогли свыкнуться со сменой строя, бывшие профессора, заслуженные артисты и народные художники, которым перестали заказывать картины о пионерах-героях» [1, с. 290]). Главные персонажи подъезда – генерал, его сын-наркоман и сожительствующая с ними обоими подруга-наркоманка.

Однако, нанявшись сиделкой к парализованной бабушке Лисичанской, героиня понимает, что именно старики всегда напоминают ей о возможностях укоренения. Лисичанская из тех женщин, опыт которых проявляется в том, чтобы укореняться (в семье и в пространстве) при любых исторических катаклизмах: «В сорок четвертом... вывезла двоих детей из блокадно-

го Ленинграда, где она начала учиться в аспирантуре и, оказавшись защелкнутой в капкан, продержалась и выжила все девятьсот дней» [1, с. 341], «пережила арест <мужа> и десятилетний лагерный срок,... писала Сталину..., отстояла квартиру» [1, с. 342], «осталась в окружении привычных книг главой разросшегося семейного клана, которым властно руководила» [1, с. 341 – 342].

В результате контакта с парализованной Лисичанской (находящейся между сном и явью, жизнью и смертью) Вера обретает не голое знание, а спасительный опыт отчуждения от собственных переживаний: «я начала вспоминать – Пенджикент, Душанбе, дорогу до Харабали, Волочок, Геннадия, смерть моего Павлика, Лейду, Юку. И пока, сидя рядом со спящей бабушкой, вспоминала, время останавливалось. Я жила в прошлом и переживала все снова... Мое “я” отделилось от тела, находилось где-то рядом, наполнялось болью и радостью – не как в жизни, а более остро и отчетливо» [1, с. 349]. Бесценность этого опыта отчуждения проявляет сцена, когда Лисичанская умерла во сне, – Вера понимает, что «так не убивалась по родному Павлику, по маме, как рыдала по ней» [1, с. 348].

Романы А. Чудакова и П. Алешковского демонстрируют динамичность и усложнение не только обстоятельств существования семьи во второй половине XX века (исторических, культурных, частных), но и способов хранения поколенческого опыта. Это вызывает у современного человека необходимость при контакте со старшими больше опираться не на внешнюю информацию (знания, тексты), а на чутье, интуицию и внимание к самым тонким нюансам их опыта и их существования.

Литература

1. Алешковский, П. Рыба. История одной миграции / П. Алешковский. – М.: Время, 2007.
2. Даль, В. Толковый словарь живого великорусского языка / В. Даль. – М.: Русский язык, 1981. – Т. 1.
3. Кукулин, И. Про мое прошлое и настоящее / И. Кукулин // Знамя. – 2002. – № 10.
4. Кучерская, М. Рыба ложиться спать против течения / М. Кучерская. – Режим доступа: http://www.peoples.ru/art/literature/prose/roman/peter_aleshkovsky/
5. Лобачева, Д. Культурный трансфер: определение, структура, роль в системе литературных взаимодействий / Д. Лобачева // Вестник ТГПУ. – 2010. – № 8.
6. Ожегов, С. Толковый словарь русского языка / С. Ожегов, Н. Шведова. – Режим доступа: [http://ozhegov/info](http://ozhegov.info)
7. Руднев, В. Прочь от реальности / В. Руднев. – М.: Аграф, 2000.
8. Смирнов, А. Русский человек в поисках пристанища / А. Смирнов // НГ ЕХ LIBRIS. – 2006. – № 45.
9. Чудаков, А. Ложится мгла на старые ступени / А. Чудаков // Знамя. – 2000. – № 10.
10. Чудаков, А. Ложится мгла на старые ступени / А. Чудаков // Знамя. – 2000. – № 11.

Информация об авторе:

Рытова Татьяна Анатольевна – кандидат филологических наук, доцент кафедры истории русской литературы XX века филологического факультета Томского государственного университета, 89069492098, rytova1967@mail.ru.

Tatiana A. Rytova – Assistant Professor at the Department of History of the 20th Century Russian Literature, Tomsk State University.